



В. Ф. ХОДАСЕВИЧ

Гумилев и Блок

(отрывок)

<...> Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных между собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга: Блок был всего лет на шесть старше.

Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, — и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев — лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга — и этого не скрывали. Однако, в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности, единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременной смертью обоих. И в самой кончине их, в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее.

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься, но не встречались долго: я мало бывал в Петербурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 г., в Петербурге, на заседании коллегии «Всемирной Литературы». Важность, с которою Гумилев «заседал», тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно тот же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблюю Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и небранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем, обстановка его кабинета все более привлекала его внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее — все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец, я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире.

— В сущности, это не моя квартира, — отвечал Гумилев, — это квартира М. — тут я все понял: мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете! ¹ Лет за десять до того эта мебель отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин ², лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении, возле Бологое, на берегу озера. Имение называлось «Заимка». По местным преданиям, Пушкин, конечно, не раз бывал в «Заимке»; показывали даже кресло, обитое зеленым сафьяном, — любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда: Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина «Заимка» переходила из рук в руки, стал называться «Лидиным», но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 г. я сделался случайным полублагодателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму.

Посидев сколько следовало для столь натянутаго визита, я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке в валенках ³. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его — тоном

короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.

Два года спустя переехал я в Петербург. Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорек, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня «питателен». Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец — в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки — в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с подготавлишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А. Ф. Кони⁴ — и Кони весьма уступал ему в важности обращения.

На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом⁵. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал.

Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слышал».

* * *

...Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы ее причины были мелочные, хотя Гумилев, очень считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело было тут в более серьезных расхождениях. Враждебны были мирозерцания, резко противоположные литературные задачи. Главное в поэзии Блока, ее «скрытый двигатель» и ее душевно-духовный смысл, должны были быть Гумилеву чужды. Для Гумилева в Блоке с особою ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Не даром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилеве должна была задевать «пустоватость», «ненужность», «внешность». Впрочем, с поэзией Гумилева, если бы дело все только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы, во всяком случае, отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два осложняющих обстоятельства. На ученика — Гумилева — обрушивалась накопившаяся годами вражда к учителю — Брюсову, вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли «гумилевщиной», казались Блоку разложением «брюсовщины». Во-вторых — Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным.

<...>

